

Игорь Куберский

Америка-Ночки



Игорь Куберский
Америка-Ночки

«Институт соитологии (ИС)»

1997

Куберский И. Ю.

Америка-Ночки / И. Ю. Куберский — «Институт соитологии (ИС)», 1997

© Куберский И. Ю., 1997

© Институт соитологии (ИС), 1997

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Игорь Куберский

АМЕРИКА-НОЧКИ

Часть первая

...Я летел вслед за солнцем, утро растянулось на полсуток – оно было и в ирландском аэропорту Шеннон, и в Гандоре на суровом канадском острове Ньюфаундленд, напоминавшем кольскую лесотундру, нас утро встречало прохладой и в Нью-Йорке, который, ворочаясь в разные стороны, долго протекал под крылом в обрамлении вод и полузатопленных островов. Позвоночник мой пел только об одном – о горизонтальном положении, но впереди маячили четыре часа в аэропорту Кеннеди, плюс еще целых пять часов лета до Лос-Анджелоса. Сквозь сон и морок я запомнил лишь букет девиц не первой свежести с тележками, чемоданами и муаровыми лентами через плечо: «Мисс Каролина», «Мисс Нью-Гэмпшир», «Мисс Южная Дакота», к которым вскоре присоединилась «Мисс Кентукки», да бомжа у бара на втором этаже, с отвращением поедавшего гамбургер. Не снимая лент, будто они могли пригодиться, девицы гарцующей походкой навещали туалет, а бродяга, создав вокруг себя десяти-метровую зону отчуждения, клеймил род людской.

Взлетев в дымке раннего осеннего заката, я снова припустил за солнцем, но поздно – следом летела тьма. Затем уши заложило, двигатели запели, как трубы под сурдинку, и внизу от края и до края земли засверкали золотые россыпи Лос-Анджелоса.

«Здравствуй», – сказала встречавшая меня Патриция, и я в порыве благодарности поцеловал ее увядающую щеку. Ее круглые запавшие глаза вопрошали – правильно ли, что мы встретились вновь. Конечно, правильно, Триша! Ты даже не можешь себе представить, насколько это правильно. Я вел тебя как Господь Бог по грани невозможного, и оно свершилось.

Через полчаса, миновав сказочный световой замок из небоскребов, мы въехали в сонное двухэтажное предместье. Фары уперлись в деревянную пристройку, мотор заглох, свет погас и, выбравшись из тесной малолитражки, признаюсь, сильно скособочившей мою американскую мечту, я вдохнул запах юга – теплый, томно-горьковатый, обещающий.

Патриша нашарила под передним сидением фонарь:

– Я хочу тебе показать енотов. Они приходят к нам по ночам.

Жиденький луч мазнул по стволам деревьев и за одним из них, как в учебнике зоологии нарисовалась маленькая морда енота. Выглядел он удивленно, словно не ожидал меня здесь увидеть.

Патриша тихо засмеялась:

– Я сделала им кормушку, но они предпочитают помойные бачки.

В ту первую калифорнийскую ночь мне приснился какой-то кошмар, будто самолет так и не сел, а полетел дальше, через Тихий океан, снова к России, уже с другой стороны, и я метался и умолял кого-то, чтобы меня выпустили, дали спрыгнуть с парашютом – ведь у меня билет только до Лос-Анджелоса. В страхе, облитый потом, с бешено колотящимся сердцем я очнулся в темноте и долго озирался, прислушиваясь.

Кто бывал в Калифорнии, тот меня поймет. Кто не бывал – тем паче. Короче, я решил остаться. Вцепиться зубами в кромку тихоокеанского побережья и не разжимать челюстей. Под опахалами пальм. Под легким ветерком, веющим с Гавайских островов. Под созвездием Ориона, похожим на лук с тремя стрелами. Я выпустил все три – и одна из них упала у лап моей лягушонки Патриши. Хотя она явно не заколдованная царевна. Но лиха беда начало. Надо закрепиться на завоеванном плацдарме. Все равно позади – ничего. Прощай, немытая Россия. Нет больше России, господа. Мы просрали Россию. И жизнь свою дешевую журналистскую я

просрал. Там, в баллончике с синей пастой, среди сбитых клавиш «Олимпии», в мегабайтах «Пентиума» затерян мой маленький никчемушный талант. И писать о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем я больше не хочу. Слово уважалось лишь до тех пор, пока за него могли вырвать язык. Слово умерло, господа.

Теперь я живу на Четыре Пэ и три Дэ: у Патриши в Пасадене на Палмстрит на Первом этаже Деревянного Двухэтажного Домишки. У меня есть раскладушка, застиранное одеяло, табуретка и три крючка на вешалке. Я занимаю одну из комнат студии. Каждый вечер я, как цапля, задираю ноги, чтобы добраться до своей постели не раздавив застывающие на полу какашки детской фантазии. В студии пахнет глиной, пластилином, гуашью, пылью цветных мелков и воздушной кукурузой из огромной пустой кастрюли. К началу занятий ее ставят на газовую плиту, и начинается процесс. Кукуруза взбухает, стонет и лопается с оглушительным треском, распугивая до сих пор не сосчитанных мною котов Патриши. Похоже, во время этого кукурузного извержения кастрюля испытывает оргазм. Похоже, что Патриша завидует кастрюле и выжидающе косится на меня. А я смотрю в окно.

Вообще-то она старше меня лишь лет на десять. Но плохо сохранилась. На лягушонку совсем не похожа, скорее – на тощую мосластую корову рыжей масти. Или на травоядного динозавра. Смеясь, она демонстрирует два ряда траченных временем, но еще мощных резцов. Выше меня, а я не маленький. Мой вынужденный пуританизм делает наши отношения все экзотичней. Чем-то это кончится?

Патриша – семидесятница. Это значит, что она не признает капитализм, ненавидит богатых, любит поговорить о душе и верит в справедливое общество. Россия – ее последняя надежда. В моем лице. Но разве не стыдно за Россию, господа? Страна рабов, страна господ. Однако я ей этого не говорю. Я поддакиваю. В глубине души я верю в Америку. В лице какой-нибудь богатой телки. Миллионерши. Из тех, что привозят в студию к Патриции своих разболтанных отпрысков. На «бьюиках» и «фордах». А потом увозят, даже не взглянув в мою сторону. Ничего. Я терпелив.

* * *

С Патришей мы познакомились год назад под Петербургом в Лосево, куда она привезла в летний лагерь американских школьников из своей студии. Мэрия взяла на себя часть забот, и на открытие лагеря позвали журналистов. Я тоже приехал. И завис. То ли давно не был в сосновом лесу, не купался в чистом озере, то ли забыто взбудоражил английский язык – в университетские годы я подрабатывал переводчиком в молодежном «Спутнике» на Чапыгина. Брандмауэр дома справа от гостиницы украшала монументальная туфта на тему дружбы народов, и помню скандал, учиненный главой нигерийской делегации, насчитавшей в ступне негритянки на стене шесть пальцев. Глава этот уже успел так меня достать своими капризами, что я брякнул: «А сколько должно быть?» Это был мой последний день в «Спутнике».

Я приезжал в Лосево после работы, мы сидели в домике на краю лагеря – Патриция с ее американской коллегой Ширли Русако, Марина Тарло, молодая педагогическая фанатка, и я.

Говорила в основном Тарло – Триша и Ширли восторженно ей внимали. Речь шла о создании в Апраксином дворе огромного культурного центра, единственного в своем роде, где лучшие педагоги всех времен и народов будут давать детям лучшие в мире уроки. Уроки чего? А всего. Живописи, музыки, литературы, языков, уроки возрождения забытых ремесел, разного там плетения, тиснения, вышивания... Все будут жить и творить вместе, в городе мастеров, и главной над ними, в хрустальной башне на троне из резной моржовой кости будет восседать она, Марина Тарло, в обнимку с Патришей и Ширли.

Ведь все они незамужние, – вдруг подумал я тогда. И вздрогнул от неясного сполоха на горизонте собственной судьбы.

Сдержанно, но тепло написав об этой чистой шизе, я не промахнулся. И вот я здесь. Богатая, по словам Патриши, детская писательница и художница Ширли Русако, успешно культивирующая свои русские корни, жила в Сан-Франциско и, незаметно снимая клок котячьей шерсти с липкой кофейной кружки, я подумал, что хорошо бы перебраться к ней.

* * *

Утром меня будят долгие свисточки неизвестных мне пернатых. Выстуженный за ночь воздух холодит щеки. Я встаю, потянув за веревку, поднимаю ширму. За окном – подсвеченный солнцем туман. Толстые кожистые листья кустов, дальше – огромная, как ветряная мельница, пальма, деревья вдоль улицы с неопавшей оранжево-красной листвой, домики-пряники на той стороне, а еще дальше – над верхушками деревьев – серебристый баллон водонапорной башни на металлических консолях с надписью «South Pasadena».

В отсутствие мужчины, на роль которого я, видимо, и приглашен, Патриша отдает свою любовь котам. Я завтракаю вместе с ними. Коты приветливо расхаживают по накрытому столу, стараясь обмахнуть мне лицо хвостом, как своему.

– Чудные котики, правда же? – улыбается Патриция, кладя передо мной на салфетку, по которой только что прошелся котяра, тост с ломтем обезжиренной ветчины. – Ты любишь котов?

– Угу, – жуя, говорю я неправду.

– Бедные котики тоже хотят ветчины, – сделав губы трубочкой, поет Патриция, наблюдая котячье оживление. Еще пара котов намеревается присоединиться к нам, высматривая для прыжка свободное пространство между тарелками.

К полудню туман растаял, и солнце засияло таким пронзительным блеском, что закололо в глазах. Кто-то царапнул по стене за окном и на подоконник вспрыгнул один из моих новых знакомцев. Посмотрев на меня и не узнав, он осторожно подошел к заправленной мной по-солдатски раскладушке и неуверенно лег в полосе солнечного тепла. Это был не Лео, названный Патрицией в честь Толстого, и не Махатма – в честь Ганди. Скорее всего – Мацушима, в чью же честь?

День у нас ушел на покупку и установку нового колеса для нашей малолитражной, семьдесят девятого года, «хонды». На одной окраине Пасадены, лишенной растительности и состоящей из магазинов, заборов складов и мастерских, мы купили обод, на другой – покрышку, на третьей нам все это соединили и поставили на место. За все про все тридцать девять долларов. Good deal! Патриция была довольна.

Она занимала нижнюю кромку, отделяющую средний класс от бедноты. Я стал вписываться в психологию ее бюджета. С собой у меня было всего лишь триста. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса я летел уже за ее счет.

На обратном пути на сэкономленные деньги мы поели в «Макдональдсе». Вылезать не требовалось – тут был и колесный вариант. Подъехал к розовой стене, сказал во встроенный микрофон, чего тебе надобно, у другой стены заплатил негритянке-кассирше, у третьей получил свои коробочки, картонные стаканы, пакетики и отрулил на автостоянку, где в тесной кабине можно было ронять и лить их содержимое прямо себе на штаны...

Вокруг была пригожая одно-, ну, двухэтажная, Америка, сложенная из цветных кубиков. Чисто, светло, все тебе улыбаются.

– О, Петъя, – сказала Патриция вечером, когда солнце зашло и птицы на деревьях утомились. – У меня пустой холодильник. Давай пообедаем в ресторане. Я знаю хороший тайландский ресторан. Там недорого и очень вкусно. Только не говори «нет», Петъя, – голос, как у диснеевской Белоснежки.

Какая деликатность! Патриция давала понять, что мне это ничего не будет стоить. Помню выражение ее лица, когда она услышала, сколько у меня наличности. В следующее мгновение она, как истая семидесятница, справилась с собой, и теперь – человек крайностей – шарахнулась в другую сторону.

– О'кей, – сказал я, поменял шорты на брюки и вышел к Патриции.

Она чуть навела макияж на свое лицо, усталое от сопротивления жизни, вечно идущей куда-то не туда, и я подумал, что в юности она была не лишена привлекательности.

– Надень куртку, – сказала она. – Потом будет холодно.

Между нами намечалось легкое необременительное партнерство. Все-таки у нас была одна духовная среда. И я совсем не возражал, чтобы Триша мне понравилась как женщина. Кажется, у меня еще не было пятидесятилетних. Почему бы не попробовать? Каковы они в любви? Судя по классике – сумасшедшие. Не помнят себя. Готовы все отдать. Нет, надо ехать к Ширли Русако... Бешено глупы и ревнивы. Но все простят ради полноценного коитуса. Впрочем, что-то такое уже было. Лет десять назад, в спальном вагоне скорого поезда «Ленинград-Москва». Она была профсоюзным боссом городского масштаба и ехала в столицу на пленум. А я был слегка пьян. В темноте купе, слыша, как она устраивается своим большим телом между чистых жестковатых простыней, я попросил у нее таблетку от головной боли, а затем встал и пересел на ее постель.

– А если я закричу? – спросила она, скорее – саму себя.

В платье она мне нравилась больше. Грудь у нее были как глыбы, и вся она была тяжела, как из камня. Но по-бабьи податлива и послушна. «Какой наглец!» – говорила без осуждения. И мужа вспоминала: «Он как чувствовал – не хотел меня отпускать». Ему она еще не изменяла. Сдуру я оставил ей свой телефон и потом она все звонила, хотела встретиться. Господи, упокой ее душу.

...Машина наша порыскала в красивой разноцветной тьме и вынырнула к освещенному аквариуму, в котором среди прочего был и тайский ресторан. Внутри было пусто, тихо и играла тайская музыка. Вышла девушка и предложила нам столик на двоих – в узком стеклянном простенке. Девушка была очень красива – тонкие азиатские черты, отточенные тысячелетиями культуры. Нет, мне все-таки гораздо ближе молодые.

Патриция тоже любила Азию. Ее последний муж был японцем. Японцы, на ее взгляд, самые красивые мужчины. И японки, конечно, поддержала она меня, но я вовремя остановился и не стал развивать эту тему. Прекрасная тайка принесла нам креветки в ананасовом соусе, рис и овощи. Лишь вино мы выбрали европейское – пятилетнее шабли. Патриция бывала во Франции и знала толк в вине. Так мы и пировали, тихо и проникновенно, два близких человека с разных концов земли, потому что больше не с кем поговорить...

– О, Петъя, я должна сказать тебе одну тайну...

Мои мозги, разрыхленные одиннадцатичасовой разницей во времени и легко впитывавшие хмель, решили, что сейчас последует признание в любви.

– Я собираюсь отсюда уезжать...

– Как, куда? – не уверен, что мне удалось скрыть испуг. А что со мной? Я даже протрезвел.

– В Орегон. Я собираюсь в Орегон. Там моя родина. Там влажный климат, леса, как у тебя в Петербурге. Я не могу здесь дышать. Моим легким не хватает воздуха.

– Что ты будешь там делать?

– Что и здесь – преподавать. Куплю наконец дом. Я скопила денег, двенадцать тысяч... Это, конечно, немного, но можно что-нибудь подыскать.

– И когда?

– Через месяц. Ты поедешь со мной?

– Конечно, – сказал я. Разве она не понимала, что без нее я – никуда.

– О, это так прекрасно! – захлопала она в ладоши. Глаза ее лучились добром и мечтой. – Мы встретим там Рождество. Там будет снег, представляешь? Настоящий снег! И дождь. О, как я люблю дождь!

Женись на ней, подумал я. И представил себе медовый месяц в петербургской слякоти Орегона... Если бы она сказала, что перебирается на Гавайи, наверно, я бы все-таки женился. Триша давала бы детям аборигенов уроки рисования, а я бы мыл кисти и отковыривал бы от ванны присохшие комочки глины. Чтобы она не слишком докучала мне в постели, я бы оставлял ей слепок своего восставшего фаллоса, а настоящий дарил бы прекрасным аборигенкам – на берегу океана, под кокосовой пальмой.

Это был наш лучший вечер. И домой мы вернулись в самом романтическом расположении духа.

– Спокойной ночи, – сказала мне Триша и пошла к себе, как девочка, низко опустив голову, словно боялась, что я прочту в ее лице то, что там было написано. Я лег, закинул за голову руки и взвесил обстоятельства. Она ждала меня там, в темноте, замерев в своей каморке, закусив крупными резцами краешек простыни или сложив руки лодочкой между бледных чресел, нагревающихся медленно, как старая электроплитка. Я войду и мы сварим постный супчик из сорго и еще какой-то хреноты, которую она покупает для себя в диетическом магазине. Она длиннее своей кровати и спит с торчащими вверх коленками – как кузнечик. Я вздрогнул и лег на бок, свернувшись эмбрионным калачиком. Эх, мало мы выпили. Еще бы бутылки две – и жизнь моя могла бы пойти совсем по другому руслу.

Рано поутру кто-то стучался в мой сон тяжелой поступью, поливал из водопроводного крана, терзал тяжелым роком, и я решил, что это и есть сестра Патриции Каролина, явление которой сегодня и обещалось, но это была наша соседка сверху, спозаранку уезжавшая преподавать в школу для черных.

В эту ночь, как сказала мне за завтраком Патриция, соседка принимала у себя наверху сразу двух любовников. Патриция осуждающе хмыкнула, но в ее осторожном взгляде в мою сторону плескался затаенный укор, впрочем, как американский кофе с молоком в ее чашке, – без кофеина. Я уже заметил, что с мужчинами она держится неуверенно. Пока же я еще не вылез из постели и слушал, как просыпаются соседи нашего околотка, одна за другой заводятся машины, фырчат, прогреваясь, моторы, едкий выхлопной дымок втягивается в мое занавешенное черной парусиной окошко, и я, как диспетчерша автопарка, отмечал в книге сна хлопанье дверц и отъезд каждой из машин.

Наконец все отбыли, но сцена не опустела – на ней уже вовсю гремел хор горластых калифорнийских пернатых. Часам к девяти к нему добавился металлический стрекот – это газнокосилки принялись косить траву, затем включился аэродромный вой ручных воздуходувов, которыми газнокосильщики сгоняли траву в кучи... Тихие американцы любили шум.

* * *

Каролина приехала только под вечер. Она восседала на кухне, как Статуя Свободы, если бы той случилось опуститься в кресло, и приветствовала меня высоко поднятым узким, как факел, стаканом с апельсиновым соком. Она была роскошно седовласа, с ослепительной, скорее всего пластмассовой, улыбкой и абсолютно не похожа на Патрицию. Патриция ругала, Каролина хвалила, Патриция обвиняла, Каролина защищала, Патриция чудила и не знала меры, Каролина была палатой мер и весов, Патрицию терзали эсхатологические предчувствия, Каролина же упивалась благостью мира. Мое явление в Новом свете на Палм Стрит было, конечно, причудой младшей неразумной сестрицы, но в благом мире каждый мог найти себе теплое местечко, и Каролина отнеслась ко мне снисходительно. Прослышав, что я журналист, она, тоже когда-то работавшая в газетенке, перешла на язык первополосной редакторской

колонки, считая своим долгом в пику сестре наспиговать меня положительными примерами американского образа жизни.

У нее была замечательная черта: спросив, она тут же прерывала тебя и начинала отвечать сама. Я восхищенно кивал в сонном отпаде – мозги мои отключались уже на второй ее фразе.

Жила она у своих друзей в богатых окрестностях Лос-Анджелоса, на берегу океана, в часе езды отсюда, и дважды в неделю оставалась на ночь у Патриции – близко от работы, к тому же вечером скоростная трасса перегружена. На дворе к серой мышке нашей «хонды» присоседился темно-коричневый эклер «тойоты».

Перед сном я вытащил из «тойоты» раскладушку Кэррол с полиэтиленовым матрасом и поставил ее в большой комнате студии. Раскладушка была точно такая же, как у меня. Каролина внесла следом тюк с одеялом, подушкой и простынями. Ее королевская прическа слегка съехала набок.

Когда я проснулся, «тойоты» во дворе уже не было.

– Представляешь, – одной рукой держа на отлете кружку кофе, другой прижимая к груди Махатму, улыбнулась мне из кресла Патриция, – представляешь, сестра мне говорит: «Кажется, я не понравилась Петъя». Для нее это так важно – нравиться. Это часть ее мировоззрения, – во взгляде Триши была просьба о снисхождении к недостаткам ее бедной Каролины.

– Да что ты! – с поспешной горячностью возразил я, услышав отдаленный гром приговора самому себе. Кто я такой, чтобы иметь свое мнение, человек ниоткуда, беспомощный как кутенок, без прошлого, без будущего и даже без настоящего, в котором мне оставалась только любовь к близким, дабы прожить на крохи ответного чувства. Никогда еще во мне не было такой готовности любить – пусть даже этих премерзких котов, лишь бы один из них сделал меня своим протеже.

– Да что ты! Как она может мне не понравиться?! Вы же сестры. Очень понравилась. Просто вы разные, и твой тип мне ближе. Потому что совпадает с моим. Вы даже внешне непохожи.

Вроде бы я прозвучал убедительно. Потому что Патриция посерьезнела:

– Угу, непохожи. Но в главном мы похожи. У нас было ужасное детство. Просто страшное.

– Почему? – помолчав, осмелился я спросить, чувствуя, что Патриция хочет продолжить.

– Почему? Я сама себя много об этом спрашивала. Только став взрослой, я осознала, в каком кошмаре мы жили. Думаю, что наши родители, особенно мать, хотели избавиться от нас. Мы им мешали. Мы создавали им проблемы. Родительские проблемы. Мы требовали внимания, отрывали от дел. У них не было на нас времени. Они были богатыми, и мы мешали им стать еще богаче. Вместо того, чтобы делать деньги, они должны были тратить их на нас. Хотя они были очень скупыми. Помню взгляд матери. До сих пор мурашки по спине. По-моему, она мечтала нас убить. Но боялась, что узнают. И тогда придется платить адвокатам.

Я молчал, и Патриция заговорила снова:

– Но все это мы поняли, только когда выросли. В детстве мы просто не знали, что можно жить по-другому, не так, как мы жили, и что родители могут быть другими. Мы приспособились... знаешь, как дети в концлагере. И нашим главным чувством был страх. И когда мы совершали какой-нибудь проступок, мы сами, не дожидаясь наказания, становились в угол. И объясняли родителям, почему там стоим. Мы знали, что они это любили. А нам хотелось хоть какой-нибудь любви. Кажется, до замужества мы так обе и простояли в углу. Мы даже не дружили между собой – потому что доносили друг на дружку. Потом очень трудно было стать нормальным человеком, нормальной женщиной. Может, уже и невозможно. Потому что наши мужья, узнав наши слабости, превращались в наших родителей.

Она бросила на меня быстрый испуганный взгляд и спохватилась:

– Прости, не знаю, почему я все это тебе рассказываю.

Ах, Патриша, Патриша, знаешь на чем возвысилась церковь? На тайне нашей бедняжки исповеди.

* * *

То, что так хорошо и горьковато пахло, оказалось огромными камфарными деревьями. Они росли вокруг дома.

* * *

Тут подоспел «Ду-Да парад». Как это перевести, я не знаю. Скорее всего – парад дураков. Впрочем, нет. Ведь два эти слова ничего не означают. Что-то типа «хо-хо», «фу-фу» или «брр»... А может, это «трах-тарарах»? Или «пум-пурум»? Нет. В оригинале – ни шума, ни грома, а так – всего четыре глупых звука. Может, «тум– тум»? Или картавенькое «ду-дак»? Падад Дудаков?

Этот был пятнадцатый по счету. Проводился он в нашей Пасадене, как и другой – Парад Роз. Но если парад Роз был парадом всяческой красоты, то Падад Дудаков был парадом всяческого безобразия.

За два дня до парада на крыльцо нашего дома вместе с почтой лег бесплатный журнальчик с программой праздника и, листая его, Патриша давилась от смеха, оглядываясь в мою сторону с той досадой, какую мы испытываем, когда силимся объяснить иностранцу непереводимую игру слов. Кое-что я все-таки понял. Ну, скажем: «Марш Полька-джаза памяти Элвиса. Потрясный ансамбль в составе внебрачных детей короля рок-н-ролла, зачатых в годину его незабвенного турне по Германии. В благодарную память о своем па-пеньке, они исполняют только самые улетные хиты и только в единственном известном им стиле “а ля полька”». Видимо, эта самая «полька» щекотала какой-то смеховой участок в американской головешке... Или «Общество насморочников снова выйдет на парад, чтобы посеять свои микробы».

Или «Бюрократ-Бэнд. Синхронный ход с дипломатами. Марш Все-как-один». То, что бюрократы пройдут в ногу в одинаковых черных костюмах с одинаковыми черными дипломами в руке, вызывало у Патриции злорадный смех.

Поди разбери этих американцев.

Были там и отдельные номератипа: «Я – Самцовый Пес» или «Горга – Зеленый Обезьян».

Парад охватывал несколько улиц и бульваров и заканчивался в местном Центральном парке.

Мы оставили машину за несколько кварталов до этого парка. Парад должен был начаться через два часа, ровно в полдень, но прилежащие улицы были уже забиты машинами, а на Фэр оук Авеню, то бишь на улице Красивых Дубов, зрители уже заняли тротуары. Они пришли сюда загодя с лежаками, складными креслами, надувными матрасами, ковриками и одеялами, с сумками еды и питья, и теперь, переодевшись в майки с эмблемой парада, в бейсбольные шапочки, релаксали на солнце. На многих красовались поролоновые рога, а также могучие носы и мясистые уши.

Мы выбрались на бульвар Колорадо неподалеку от пересекающей его Раймонд Авеню и стали искать себе местечко, что было непросто, так как тротуары были уже заняты почти во всю ширину. Свободным оставался только узкий проход вдоль стен домов, где все и пробирались, то и дело сталкиваясь и с доброжелательной улыбкой уступая друг другу дорогу. Некоторые зрители проскакивали и по проезжей части, а самые настырные – в основном подростки на роликах – норовили перебраться через живой заслон. Сделать это, ни на кого не наступив, было невозможно, но надо же, я не заметил в ответ ничего похожего на раздражение, недовольство,

гнев. Уличная толпа была начисто лишена агрессии. По определению. Вот оно что, подумал я. Значит, это и не толпа вовсе. В АМЕРИКЕ НЕТ ТОЛПЫ.

Наконец и мы с Патрицией притулились за раскладными стульями, и вполне удачно, так как перед нами стоящих не было. Наша сторона улицы была в тени, а противоположная – на солнце, и солнечная сторона зрителей кричала хором: «Ду!», а теневая отвечала: «Да!»

В открытом окне какой-то кафешки возникло множество ковбойского вида загорелых мужских голов – головы, дружно разевавая зубастые рты, запели что-то бойко-знакомое и вся улица радостно подхватила песню. Проехали красивые, в черном, полицейские на красивых черно-белых мотоциклах, высоко в небе пролетел спортивный самолетик, таща за собой транспарант с надписью «Ду-да», по зрителям прокатилась волна предвкушения, на перекрестке брызнули серебром трубы залихватского оркестра, грянул марш, будто с полки грохнулась на кафельный пол металлическая посуда, и парад начался.

Промаршировали заявленные номера – команда синхронных бюрократов, полька-джаз и прочее. Проскакали, взгромоздившись друг на друга, сатанисты; проехали, лежа животом на роликовых тележках, любители подводного плавания, два десятка актеров дали двум десяткам полицейских пощечину – как объяснила Патриция, недавний случай из жизни, имевший шумную прессу. Самцовый пес, продев свой толстый хвост между ног, продемонстрировал нам мужскую мощь. Сбывалось мое тихое подозрение, что словесное остроумие журнальчика будет не просто проиллюстрировать.

Из толпы в участников парада и обратно летали мексиканские лепешки с надписями типа «сам дурак» или «поцелуй меня в зад». Почти напоследок провезли огромную кучу ненастоящего дерьма с надписью «вДУХновенные фекалии», попутно окропив нас чем-то зеленоватым – приобщив, так сказать.

Градус парада потихоньку падал. Зрители, расположившиеся возле перекрестка, стали сниматься со своих мест – это показался хвост праздника. Все потекли следом за хвостом. Двинулись и мы с Патрицией. На проезжей части было тесно, где-то впереди еще гремела музыка, и ритм шествия превращал и нас в стыдливых участников.

Асфальт был залит зелеными и красными разводами, усеян цветными бумажками, заляпан растоптанными мексиканскими лепешками. Под ногами отчаянно гремела банка из-под пива – ее футболили все дальше и дальше. Среди толпы навзрыд плакал мальчик, закрыв лицо руками.

– Что с тобой? Что случилось? – остановилась возле него Патриция.

– Я потерял папу, я не знаю, где он. Я не знаю, куда идти. Мы приехали на машине, – на залитом слезами лице мальчика было написано отчаяние. Он не верил в помощь и ему было страшно.

– Ну и что, что потерял! – бодро сказала Патриция. – Сейчас мы найдем твоего папу.

Она подвела мальчика к здоровенному полицейскому, прототипу которого полчаса назад принародно вlepили пощечину. Тот, положив здоровенную лапу на маленькое плечо мальчика, сел перед ним на корточки и стал спокойно задавать вопросы.

Срезав путь, мы направились к парку. На Грин стрит, пересекающий Фэр Оукс, парад был еще в полном разгаре, как будто время откатилось назад, застав нас в уже прошедшем, – полька-джаз, бессмертные бюрократы, Горга – зеленый Обезьян...

В парке под наполовину облетевшим дубом, сверкая золотом и серебром, взрывивал духовой оркестр, открывавший парад. Маленький пожилой негр в черном костюме и белой манишке выделялся в пыли ногами полузабытый степ. Ему аплодировали.

* * *

В моем отношении к миру много школьного, географического. Сознание того, что я стою на берегу Тихого океана, может привести меня в экстаз. В детстве я попеременно мечтал быть то летчиком, то моряком и даже занимался в авиамodelьных и судостроительных кружках. Но не потому, как я теперь понимаю, что хотел летать и плавать, а – чтобы видеть новые земли. Новая земля всегда казалась новой жизнью, а мне хотелось прожить много разных жизней – наверное, поэтому, мне досталась только одна, скучная и серая, неподвижная, в моей убогой стране, в моем послушном испуганном народе.

Что здесь прежде всего бросается в глаза – неиступанность. Прямая спина, подбородок поднят, взгляд самоуверенный. Мужчины здесь выглядят намного мужественней. Русский мужчина – он коллективный, взгляд его блуждает, пока нет команды, походка неопределенная, поступь нетвердая – ан, не туда путь держит?

По природе я человек открытый и прямодушный, к тому же разговорчивый и даже как бы имеющий на все свое мнение. Но жизнь меня закрыла и научила молчать. Я молчу неделями. Иногда я произношу в день не более десяти слов. «Пробейте талончик, пожалуйста», «до свидания», «мне пачку кефира», «сегодня не могу». Но в себе я говорю постоянно, я веду бесконечные монологи, пишу письма в комитет по экологии и защите прав потребителей и в комиссию по налогообложению, выступаю в теледискуссиях, поучаю, обличаю и горько слезы лью. Иногда я даже пишу в голове целые романы. Десять минут, и роман готов. Вот человек. Жил да был. Любил и надеялся. Счастье знавал. А потом стал стар и несчастен. И умер. Хотя сейчас мой внутренний голос тоже молчит – он мыслит только по-русски, и в отсутствии мыслимой аудитории ему нечем себя занять. Это смущает его. Похоже, он даже слегка поглупел без привычного ежедневного тренинга. Мой убогий английский ему не подмога. Это все равно, что идти по канату. Теперь, прежде чем открыть рот, я должен собраться в комок. Чужой язык лежит во мне, как куча мусора, которую надо постоянно разгребать: склянки сюда, бумажки туда... Ничего. Не все сразу. НАДО ПОТЕРПЕТЬ.

Мне тридцать восемь. В этом возрасте гении умирают. Не обязательно физически. Просто если в тебе был гений, он все равно в этом возрасте умрет. И ты будешь жить дальше как посредственность или по инерции. Все гениальное сделано до тридцати восьми. Я же ничего не сделал. Но у меня есть оправдание – я родился не в той стране. Может, я только просыпаюсь? Ведь в истории немало таких примеров. Гений в человеке вдруг как бы пробуждался после летаргического сна... Только непонятно, зачем мне гениальность? Почему мне так хочется кому-то что-то доказать, утереть нос? Почему мне хочется общественного признания? Допустим, если бы я сейчас сидел в роскошном «линкольне» рядом с женой-миллионершей или, подкатив к своему дворцу-особняку, выходил бы из машины, то мне было бы мало, что все это у меня есть, – я бы даже не смог наполнить всем этим сердце – оно наполнилось бы только тогда, когда бы все, кому я хотел что-то доказать и утереть нос, когда бы они в этот момент меня увидели, бледные от зависти. Наверное, когда-то очень давно, может, даже до Христа, который вызывает у меня раздражение, мои предки были царями в каком-нибудь не очень большом средиземноморском царстве. Откуда еще во мне эта затаенная, невоплощенная великая спесь? Жажда судить и миловать. Жажда повелевать и проявлять великодушие к падшим у ног моих. Это гордыня, я знаю. И если сейчас я ем из одной миски с котами – то это тоже из-за гордыни. Гордыни добровольного уничтожения. Так и совершался постриг – через великое умаление своей прежней личности, ради грядущего возвышения в новой, иной.

Мы выезжаем на скоростное шоссе и вписываем свою жестянку в залп пролетающих машин. Пейзаж – это холмы, а затем плоская, как стол, равнина. Справа, за береговой чертой – тусклый блеск океана. Я втягиваю ноздрями воздух – океан не пахнет. Но вот земля,

словно вняв моему ожиданию, приподнялась, выгнулась, женственно округлилась, и на красивых холмах террасами выросло предместье Лос-Анджелоса под названием Роллинг-Хиллз, в котором прошло детство бедных девочек Триши и Кэрл. Именно сюда и привозили их на лето родители из родного, но дождливого Орегона. Это было местечко для богатых людей, название которого можно было бы перевести как Кательные горки. Это был как бы курорт в курорте, или даже курорт в курорте курорта, потому что ведь курортом была и сама Калифорния, и город развлечений Лос-Анджелос.

Что же такое богатые? Если подумать, это люди, которые умеют устраиваться и делают это с полной отдачей. У них есть особый ген – чувство хозяина жизни. С ним они и рождаются – и раз они хозяева (независимо от того, богаты они или бедны на данный момент, с наследством или без) такие люди рано или поздно берут жизнь в свои руки. Но для этого надо родиться на земле, где подобный ген поощряется. На такой земле никогда не пели песен про то, что человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Именно – «как». Да и куда проходит? У подлинного хозяина совсем другие песни. Если большинство живет как трава, то богатые – это большие деревья, раскинувшие свои мощные кроны навстречу космической энергии жизни, так что траве в лучшем случае достаются лишь блики, когда ветер жизни слишком уж раскачивает верхи.

Патриция решила остановиться возле одного из отелей, откуда был самый удобный выход к морю, но свободного места для парковки не оказалось, и мы стали шнырять по близлежащим улочкам, летающим вверх и вниз под таким углом, что дух захватывало. Я озирался по сторонам и не скрывал восхищения. «Здесь самое дорогое жилье, – хмыкнула Патриция, – самый маленький домик сдается на месяц за три тысячи долларов». В ценах я уже начал разбираться – за свой нижний этаж-студию Патриция платила вскладчину с двумя преподавательницами пятьсот долларов. Вот так. Естественный порог, естественный отбор. Бельенские сюда – бедненькие туда. Бедненьких здесь не было и быть не могло. Кроме нас, втиснувшихся наконец между двумя солидными «карами» и оставивших в их компании главную улику нашей бедности, за что, впрочем, все равно пришлось накидать в счетчик монет на четыре часа вперед.

Мы вытаскиваем сумку с едой, одеяло с подстилкой, я вешаю на шею отличный фотоаппарат «Кэннон» с длиннофокусным объективом, единственную дорогую вещь в доме Патриции, подарок ее последнего мужа, и мы спускаемся по улице. Поздняя осень, а как ни странно, что-то еще цветет белым и нежно-розовым цветом. Солнце сияет, пальмы качают веерами, будто обмахиваясь от жары, все люди в шортах. На мне тоже шорты – белые, фирменные. «Хочешь?» – протягивает мне конфетку Патриция, и ветерок освежающего ментолового вкуса наполняет меня новой незнакомой радостью. Я чувствую себя человеком этого общества, я сам себя не узнаю, я выше себя, вчерашнего, на целую голову.

Возле стеклянных дверей роскошного отеля меня все-таки охватывает робость:

– А нас пустят?

– Конечно, – пожимает плечами Патриция, – здесь всех пускают.

Жаль, что на ней нет ничего адекватного моим белым шортам. Ее свитер домашней вязки, ее линялые джинсы нарушают, на мой взгляд, целостность окружающей нас обстановки. Но бедное, утешаю я себя, здесь может быть принято и за экзотическое. Такая вот пожилая экзотическая женщина рядом с еще молодым мужчиной вполне может оказаться и миллионершей. Никто ведь тут не видел нашу ржавую мыльницу. Перед выходом в свет мы расходимся по туалетам – то бишь по мужской и женской комнатам, как написано на дверях. В здешних туалетах я еще не вполне освоился – есть проблемы с автоматами, выдающими бумагу, почему-то в каждом новом месте по-своему, но больше всего у меня сложностей с водопроводными кранами. Одни надо крутить, другие нажимать, третьи тянуть, четвертыми манипулировать, как джойстиком, пятые включаются сами, едва поднесешь ладони, шестые – если только ты вовремя догадаешься, что на полу под ногой – кнопка, седьмые же не откроются, что бы ты с ними

ни делал... они как верные псы служат только своим. Так что прежде чем подойти и небрежным жестом открыть воду, я каждый раз должен искоса понаблюдать, как это делают другие. Когда я все же попадаю впросак, кровь приливает к моим щекам и ушам – и мне кажется, что все вокруг понимают, кто я такой и откуда.

В мужскую комнату то и дело врываются загорелые мускулистые дядьки, запираются в кабинках или облегаются в прихотливые, как морские ракушки, писсуары, моются, плещутся, разглядывая себя в зеркало и изводя горы нежной бумаги.

– Да, с годами все меньше хочется смотреть в зеркало, – весело квакает один из них моему отражению. Так он понял мой задумчивый по поводу бумажного полотенца вид.

Я выхожу первым – Патриции нет, и я жду ее, погрузившись на дно роскошного кожаного дивана. Ноги оказываются чуть ли не выше головы и из этих мягких кожаных объятий богатой праздности так не хочется вырываться. Напротив меня сидят две молодые холеные телки, похоже, охреневшие от красивой жизни, потому что тут же включают меня в поле своего внимания. Сердце мое начинает учащенно стучать – господи, они принимают меня за своего, они непрочь пофлиртовать! Сейчас мы выйдем вдвоем и сядем в двухместный ягуар – они положат меня поперек к себе на колени и повезут к другой жизни. Я буду любить их вместе и поочередно, я буду их милым и нежным другом. Обнявшись, мы покатаем по свету, где белые отели, голубая вода и бронзовый загар. Мы купим кровать на троих, и по утрам я буду приносить им на подносе две чашечки кофе-капучино и два маленьких утренних мартини с виноградинками куннилингуса на дне. Но появляется Патриция, и видение исчезает. Мои богатые подружки меряют ее презрительным взглядом, и мы удаляемся, как да шука, навстречу своей пресной судьбе.

Патриция хорохорится, но я вижу, что и она не в своей тарелке. Укороченный шаг, зажатые плечи, опущенная голова – так, на цыпочках, проходят слуги мимо барского застолья. А в ресторане, каковой нам приходится пересечь, и вправду пир горой. Дух жаровни, языки пламени, дым, уходящий в черный зев вытяжки. Трудно не остановиться, не заказать коричнево-розового мяса на шампуре, но у нас все с собой, в корзине, мы минуем второй круг искушений – столики на террасе под голубыми тентами, хлопающими на ветру, где белые люди переходят к фруктам, к мороженому, к отличному калифорнийскому вину, – и наконец оказываемся на океанском пляже.

Это первая моя встреча с океаном. Мне хочется, чтобы он отличался от моря и я тут же нахожу это отличие. У него протяжней дыхание. У него в десятки раз длинней волна, и зрелище этих рождающихся, долго набирающих силу и бегущих к берегу волн, завораживает. Это как раз те самые волны, на которых можно кататься. Вон они, серфингисты, со своими досками – серфами. Все в резиновых костюмах – в воде холодно. Но не потому, что поздняя осень. Летом вода здесь ненамного теплее. Такая вот особенность здешнего климата. Горячий воздух и холодная вода. Ее приносит сюда холодное течение, зарождающееся у берегов Аляски. Так что купаться здесь все равно, что в Финском заливе. Без резиновых костюмов только мальчишки. Эти не мерзнут. Такое у них время жизни. Накатывает длинная гряда волны – серфингисты вскакивают на свои доски и катятся наискосок вниз по ее бегущему склону, опережая плещущий рядом пенистый гребень, пока тот не настигнет их, накрыв с головой.

Длинное дыхание водного простора возвращает мне уверенность и бодрость, и пока Патриция, расположившись на песке, малюет акварельку в альбомчике, я, скинув кроссовки и футболку, пускаюсь в разминочный бег вдоль уреза воды. Я уже несколько лет как бросил бегать. Зачем было преодолевать сопротивление жизни, если она того не стоила. Другое дело – теперь. Вперед, Peter, ты еще будешь счастлив! Бежать легко, в ногах осталась память бега, дыхание у меня поставлено – это от тенниса – я еще молод, я могу бежать и бежать, четыре шага вдох, четыре выдох, я легко обхожу других бегущих, мне хочется даже подпрыгнуть, но я сдерживаюсь, не то ветер подхватит меня и понесет неведомо куда...

Патриция все корпит, сгорбившись, над своей дилетантской акварелькой и, чтобы не мешать ей, я пробегаю мимо в другую сторону. Бухта Авалон оканчивается вдали мысом, на мысу – высокие тонкоствольные пальмы, за ними – богатые особняки. А волны все накатывают, медленно, торжественно – сто шагов вдох, сто шагов выдох – вот какие легкие у океана, в солнечном воздухе на ниточках висят картонные самолетики, взрослые здесь, как дети, а дети, как взрослые, след мой слизывает языком волны. Какая-то птичка бежит неустанно за ней и от нее по мокрой полосе песка, поклевывая что-то, выброшенное на берег. Я смутно чувствую некое сходство с ней...

Вернувшись, я беру фотоаппарат и принимаюсь снимать. Я снимаю все подряд – волны, серфингистов на них, пальмы на далеком мысу, красивый разноразной частной архитектуры, молодых довольных супругов со счастливыми малышами в широкой коляске, задирающими к небу свои розовые пятки, двух мужчин, бьющих с лёта пляжными укороченными ракетками по облегченному мячу, – у меня бы получилось не хуже, снимаю чаек... Чайки здесь крупные, сильные, с мощными крыльями. Их все больше, они кружат над Патрицией, галдят, на лету подхватывая кусочки корма, которые подбрасывает в воздух длинная худая рука Патриции. Я не люблю чаек, но ложусь на живот и прилежно щелкаю, стараясь совместить их в кадре с Патрицией – ей будет приятно. Вот уже целая стая рвет клювом и крыльями воздух над моей хозяйкой, стоит крик и гвалт, так что вдруг холодок пробежит у меня по спине. Это похоже на «Птиц» Хичкока. Многие оборачиваются и недоуменно смотрят на дерущихся чаек над головой Патриции. Происходящее неприлично, но ей уже не остановиться – с видом нелюбимой, упрямой девочки она продолжает кормежку назло всему миру, словно забывшему о жестокой изнанке сытости и довольства. Она бросает сытым вызов...

Но вот чайки улетают. Пора и нам перекусить. Солнце уже спускается с порозовевшего небосклона, клонясь к мысу с пальмами, и вода, воздух приобретают миллион новых оттенков. Я с аппетитом уплетаю маленький бутербродик с ветчиной и майонезом и тянусь в корзину за следующим – мы заготовили не меньше десятка, но Патриция смотрит на меня проникновенным взглядом как на единственного, кто все понимает, и говорит извиняющимся голосом диснеевской Белоснежки:

– Ах, Петя, у нас больше нет. Я все отдала чайкам. Они такие красивые и такие голодные. Прости.

– О'кей, – говорю я, проглотив слюну. – Нет проблем, – встаю и стряхиваю песок со своих фирменных белых шорт. Пальцы мои попадают во что-то мерзко-липкое. Это рыжий птичий помет. Растерянно оглянувшись, я замечаю, что весь песок вокруг Патриции изгваздан свежими шлепками дерьма. В знак, так сказать, птичьей благодарности.

– Не беда, – ободряет меня Патриция, стараясь не смотреть на мои шорты. – В темноте будет не очень видно. Попробуй морской водой.

И правда, быстро темнеет. Теперь пальмы нарисованы углем на малиновом закате. Длинные волны обозначаются у берега протяжными вспышками пены да еще горят цветные зеркала мокрого песка. Наверху на террасе зажигают огни, оттуда льется томная музыка. Фрэнк Синатра. На пляже уже никого. Холодно. Голодно. Тянет к теплу.

* * *

Кажется, во всей Южной Пасадене нет машины, запущенной нашей. Я все собираюсь ее расчистить и навести внутри марафет. Каждую ночь на нее падают сухие листья и, размякнув в утренней росе, прилипают, как стикеры, к радиатору. Патриция их не смахивает – сложив свое длинное тело в кабине, лихо, задним ходом, вырывает на нашу Палм-Стрит и включает первую скорость. Утренний ветер обдувает лобовое стекло, разметаая листья набившиеся между им и дворниками, затем подсыхает, одновременно самоочищаясь, и капот радиатора...

Но никакого ветра не хватило бы, чтобы разобраться с содержимым нашей кабины. На заднем сиденье, недоступном для пользования, был целый склад – коробка склянок с красками, батарея банок с кошачьим питанием, пачки рисовой бумаги, куски картона, тряпки и что-то недоеденное с незапамятных времен Пирл-Харбора в коробке от Макдональдса. Лишнее Патриция не выбрасывала, а просто сметала с сидений на пол. Под моим сидением под кучей жухлой листвы завелся целый муравейник, перерабатывающий какую-то крупную пищевую залежь, – муравьев Патриция не велела выгонять – Божьи твари были при деле... За всем этим усматривалась тенденция превратить машину в некий экологический комплекс, где вершатся естественные для природы процессы.

В субботу утром, выйдя во двор, я не узнаю его – он прибран, подметен, листва собрана в кучки, а все свободное пространство между деревьями перегорожено натянутой проволокой. На проволоке – проволочные же плечики, на плечиках – пестрый second hand. Глянув острым взглядом постсовковского люмпена, я прихожу к выводу, что на наших развалах тряпье покруче. Правда, – на раскладушках, а не на вешалках, но круче. А тут – просто последнего разбора. Кто же такое купит? В продавцах я узнаю двух мрачных баб и невзрачного мужичонку из соседнего дома, выходящего тылом в наш двор. Они мне мучительно знакомы – будто с родной российской барахолки. Почему мы и не здороваемся. Или же они перенесли на меня свою неприязнь к Патриции. Или просто принимают за такое же дерьмо, как они сами. Разве порядочный человек стал бы здесь жить? Целую неделю они свозили во двор это барахло, стирали, сушили, подшивали, латали и гладили. И вот оно – налетай, подешевело! Самое поразительное, что к полудню во двор стал заглядывать народ, привлеченный фанерной самопальной рекламой. Кто-то что-то покупал! Люди приходили тихие, незаметные, говорили вполголоса, смотрели не в глаза, а себе под ноги. Это слуги, – вдруг осенило меня. Слуги, ютящиеся в задних каморках богатых особняков и получившие короткую увольнительную на уикэнд. У них нет машин, чтобы добраться до города. И они покупают здесь...

* * *

День проходит, как во сне, и снова вечер. На кухне горит свет, у открытого темного окна под теплым абажуром греется самый умный из наших котов – черный Мацushima. Рядом Патриция, которая, слышав мои шаги, делает вид, что читает. Книга у нее в руках вверх ногами. Я желаю ей доброй ночи, и она мне желает того же. Однако в ее круглых глубоко посаженных глазах с тонкими верхними веками дрожит плохо скрытое недоумение, которое причиняет ей нравственные страдания. То, что плохо скрывают, легко прочесть. «Если мы с тобой не занимаемся любовью, Петъя, – читаю я, – то какого рожна ты у меня живешь, да к тому же каждый день жрешь мой хлеб с ветчиной, политой майонезом?» На этот вопрос у меня пока нет ответа. А может, его вообще нет.

Ночью я просыпаюсь, как от толчка, и обнаруживаю, что мой мучительно восставший фаллос приподымает одеяло, словно ему душно. Ночь выдалась теплая и из трех одеял я оставил на себе только одно, среднее. Я переворачиваюсь на живот, придавив бунтовщика всем телом, и вдруг чувствую локтем, что в одеяле что-то зашито. Это комочек под тонкой синтетической материей действует на меня так, что остатки сна испаряются вместе с безадресной похотью. Патриция мне говорила, что деньги она прячет от воров там, где они не станут искать. И показала мне на ящик в коридоре с постельным бельем. Значит, сама их сюда и зашила, – четко решил я с логикой лунатика. Но почему она подсунула это одеяло мне? Тоже из-за воров. Им не придет в голову шмонать неимущего гостя. Патриция здесь ни при чем – четко тикает мозг. Это одеяло она купила по дешевке на такой же дворовой распродаже. Кто-то умер, старуха-процентщица, и после нее осталось одеяло с зашитыми стодолларовыми бумажками. В

рулончике их наощупь не меньше пяти. Пятьсот долларов – это целое состояние. И Патриция об это не знает. Иначе бы предупредила.

Рулончик был вшит между двумя слоями одеяла. Я чутко ощупал его и определил, что от него тянется шпагат. Я повел пальцами вдоль шпагата и обнаружил еще один рулончик. А затем еще два – они были нанизаны на шнур, чтобы в нужный момент дернуть и вытащить все вместе. Меня даже пот прошиб. Тут был целый клад, спрятанный с тем ухищрением ума, на который наивная Патриция была, конечно, не способна. Это были не ее деньги. Я лежал в темноте с открытыми глазами. Если я скажу Патриции – она возьмет деньги, ибо это ее одеяло. С другой стороны она покупала его на распродаже по бросовой цене. А вшитые купюры обнаружил я – значит, они мои. Вот она удача, о которой я так давно и неистово мечтал. Я полечу на Гавайи, я... Мечтая, я нащупывал в одеяле все новые долларовые сгущения, связанные прочной, видимо, нейлоновой нитью, и таким образом дошел вдоль нее до самого края, где пальцы мои ухватили плотный резиновый предметик. Сам не свой от волнения, я потянулся, включил лампу, стоящую на полу и зажег свет, хотя понимал, что лучше бы не выдавать себя...

Резиновый предметик оказался розеткой. Электрическое одеяло...

Не скажу, что разочарование было очень сильным. Я снова лег на живот и постарался хорошенько расслабиться, чтобы заснуть. Что-то со сном у меня никак не налаживалось.

* * *

Три раза в неделю, во второй половине дня Патриция дает уроки рисования и живописи. У нее несколько групп школьников – от малышей до старшекласников. Урок длится два часа и стоит ученику, вернее его родителям, двенадцать долларов. Для одних родителей это много, для других мало. Дети здесь из самых разных по уровню жизни семей. Годовой доход Патриции сорок тысяч долларов. Это очень приличный заработок, равный профессорскому, но пятнадцать тысяч она тратит на краски и бумагу и прочие материалы. Так что остается двадцать пять – это доход тех, кто принадлежит к нижнему слою среднего класса. Мой годовой доход в газете составлял полторы тысячи долларов.

Патриция могла бы получать и больше, но настали трудные времена – американцы беднеют и стараются меньше тратить. Что такое трудные для Америки времена, я не очень хорошо себе представляю. Магазины ломятся от товаров, продуктов море разливанное. Музыка и реклама. Не проезжайте мимо. Только сейчас и больше никогда. Самые низкие цены, сама большая распродажа. Прямо, как у нас, хочется сказать мне. Но еще совсем недавно у нас так не было. Значит, как у них. Я помню очереди за хлебом и спичками в девяностом году. Я помню, как в том же году моя матушка пришла из магазина и тяжело опустилась на стул в коридоре, не в силах сделать еще шаг. «Сынок, ветчину давали, – сказала она. – Четыре часа простояла в очереди. Не досталось...» – и всхлинула. Я не простил коммунистам этих ее слов, как не смог потом простить демократам, которых я выбирал и защищал, своей нищеты. Страна отвернулась от меня, а я от нее.

За тонкой фанерной стенкой детские голоса и музыка. Но не такая, как в моем приемнике, – Патриция ставит классику. Здесь рисуют под Вивальди, Моцарта, Баха и ее любимого Прокофьева. Я сталкиваюсь с детьми в коридоре и на кухне, когда занятия совпадают с моим ужином. Американские дети не такие, как русские. На эту тему мы много дискутировали еще в лосевском летнем лагере. Наши скромнее и незаметнее. Каждый американский ребенок – это уже как бы готовая личность, и с другим его не спутаешь. Но не спешите горевать, не спешите в корне менять нашу отечественную педагогику, привыкшую воспитывать коллективистов. На самом-то деле американский индивидуализм – это внешнее, напускное. Да, русские дети послушны и исполнительны, они привыкли подчиняться, но это тоже внешнее, напускное. Талантливость русских детей Патрицию поразила. А американские дети – они никакие. Они

не знают, что такое дух. Свобода им ничего не предлагает, кроме рекламных щитов и фоторепродукций. Вот они и копируют. Учиться рисовать в Америке – это учиться копировать. Дети перерисовывают фотографии из рекламных журналов: девочки – красоток, мальчики – новые марки автомобилей... Самое большее, на что они способны, – это скопировать фотопейзаж. И родители счастливы. По их мнению, в этом и заключается искусство художника.

Я их почему-то боялся. Мне казалось, что они мои судьи. При них я чувствовал себя явно не на своем месте. Что я здесь делаю – спрашивал я сам себя при них. И еще – я дико стеснялся своего английского. В свои шесть-семь лет они говорили много лучше меня. Мои английские предложения представлялись мне колонной военнопленных, которых я сопровождал по дороге как охранник. Колонна двигалась неохотно, из-под палки, не было в ней радости свободного самовыражения. Подневольный шаг колонны вызывал у меня постоянный стресс. Маленьким американцам было безразлично, кто я такой.

У Патриции дети переодевались, облачаясь в длинные, до колен, рабочие рубашки, хранящиеся в специальной тумбочке в коридоре. Дети были крайне самостоятельными – с независимым видом шастали по коридору, в ванную комнату и на кухню – мыть кисти и руки. В ванной для них висело специальное полотенце, ужаснувшее меня, когда я впервые туда вошел. О назначении полотенца я еще не знал, и некоторое время оно занимало первое место в ряду моих тяжелых открытий, как, скажем, и сама ванна, которую, похоже, последней раз чистили, когда Калифорния еще принадлежала Мексике. Дети были вежливые, но настырные. Стоило закрыться в ванной (она же туалет), как они немедленно начинали стучать в дверь. И хотя даже американцу должно было быть понятно, что занято, они не переставали дергать и колотить, пока я не подавал голос. Только тогда наконец на полминуты воцарялась тишина.

Иногда вместо музыки, Патриция читала детям красиво выпущенные байки своей подруги Ширли Русако про «бабушку», «дедушку», «Варьинку» и снег, о котором было написано как о девятом чуде света. В развитие русской темы Патриция рассчитывала на меня – и я с трепетом ждал того дня, когда должен буду предстать перед тремя десятками детских глаз.

Через час непристойный треск на кухне извещал, что подросла воздушная кукуруза, затем начинал свистеть чайник. Сейчас в коридоре мимо моей двери длинным верблужьим шагом проследует Патриция, неся на подносе тяжелые керамические кружки с чаем. Я выйду и помогу ей донести остальные. «Ах, спасибо, Петъя, ты такой внимательный». А в глазах вопрос – не пора ли тебе, Петъя, потихоньку-полегоньку возвращать долги. Раз не натурой, то хотя бы на скудной ниве воспитания подрастающего поколения. А то я тут корячусь одна, как карла.

Воздушная кукуруза, запах масляных красок и дешевого растворителя, маленькая ночная серенада Моцарта, ранние сумерки, недвижные купы камфорных деревьев, звездное небо, созвездие Ориона высоко над крышей нашего дома, три звездочки одна за другой и еще две на одинаковом расстоянии сверху и снизу. То ли лук со стрелой, то ли аптечные весы. Хорошо ли я все взвесил? Зимой Орион стоял и над моим домом в Петербурге, только не так высоко.

День Благодарения совпал с днем рождения второго мужа Патриции. На День Благодарения положено съедать turkey, то бишь турка, а по нашему – индюка. Видимо, наши индюки притопали из Индии, а ихние – приплыли из Турции. Но это одно и то же. Индюка Патриция заказывала по телефону, и когда мы приехали в магазин, он уже был взвешен, завернут и тяжел, как валун на дороге.

С самого утра индюк скворчит в духовке, облаченный, как космонавт, в скафандр фольги, Патриция что-то месит и варит, пробуя из длинного деревянного черпака явно российского происхождения. Идея праздника том, чтобы нажраться до отвала, буквально – to pig out, то есть как свинья. А вчера целый день мы готовили подарки ее второму мужу. В последнее время ее отношения с мужем потеплели – годы идут и пора подумать о том, кто в старости будет

подносить тебе судно или утку. Она стала пускать его в дом. Мое появление явно усилило активность экс-мужа, будто я собирался оспорить его моральное право на утку.

Мужа зовут Рон Мацушима, он чистокровный японец, хотя родился в Америке, куда в двадцатые годы переехали его родители. Детство его прошло в американском концлагере, куда после Пирл-Харбора свезли здешних японцев, и потому Патриция все понимает и давно уже простила Рону его прегрешения. Патриция много переняла от мужа – ну, например, искусство раскрашивания тонкой рисовой бумаги. Зачем? Чтобы завернуть в нее подарки для Рона. Он как ребенок любит подарки. И любит, чтобы их было много. И чтобы они были в оберточной бумаге его детства. О, это просто! Большой лист складывается сначала квадратиками, потом треугольниками, потом окунается разными концами в чашки с тушью разного цвета. Остается отжать, расправить и повесить на прищепки. Вон уже сколько их, пестреньких, стремительно сохнет на теплом калифорнийском ветру. Взавшись помочь, я изобретаю новые варианты раскладки и раскраски рисовой бумаги. Варианты удачны. «Ах, Петя, – поет Патриция, – вы, русские, такие талантливые!» Почти как японцы, – хмыкаю я про себя. Похоже, она счастлива, что трутень наконец сподобился ударить пальцем о палец. Завернутые в раскрашенную бумагу подарки перевязываются разноцветной тесьмой – с колокольчиками, с уже готовыми пышными бантами, со спиральками... Подарков так много, что их хватило бы на целый детский сад. Сверху на некоторые, уже обернутые, приклеиваются открытки, чаще всего с гравюрами несравненного Хокуса. Даже меня, выросшего на отшибе цивилизации, Хокусай преследует с детства. По-моему, японцев должно от него тошнить. Среди подарков преобладают календари и календарики на будущий год. Видимо, в доме Рона Мацушимы много комнат и комнатушек, столов и столиков – письменных, кухонных, туалетных. На каждый – по календарю. Это как книга судеб. Ты пролистываешь будущие месяцы с абсолютной уверенностью, что доживешь до них. Самое удивительное, что довольно долго так оно и происходит.

Картонный короб, полный подарков, уносится в студию и, когда я ненароком заглядываю в дверь, второй муж Патриции уже там. Мы еще не знакомы, и потому я тихо пячусь назад. Впрочем, Рону не до меня – он с головой ушел в подарки. Нашу оберточную бумагу он не жалеет – рвет, как попало – очень ему хочется поскорее добраться до того, что внутри. Патриция же на кухне со своим индюком и кастрюлями и сопереживать восторги своего бывшего мужа, похоже, не собирается. Весь запас причитающегося ему внимания она уже как бы исчерпала. Поэтому для меня лично так и остается неизвестным его оценка наших с Патрицией трудов. Однако вдруг странное чувство охватывают меня – что мы с Мацушимой соперники и что Патриция специально устранилась, дабы мы в смертельном поединке на самурайских мечах выяснили, чья она. Затаив дыхание, на цыпочках я спускаюсь с крыльца и к великому своему облегчению вижу шоколадную «тойоту» Каролины. Каролина приехала не одна, а с родственницей Микаэлой, живущей неподалеку. На ней женат сын Каролины. Родственники – это большая сила. До дуэли они нас не допустят.

Впрочем, я категорически ошибся – Рон Мацушима славный миролюбивый мужик. По профессии – архитектор. Хотя он лет на двадцать старше меня, у него абсолютно гладкое лицо и юношеские зубы. А Микаэла меня моложе – она жилистая как канат, с прядями седины и трагическим выражением больших темно-карих глаз. Но трагедии в ее жизни нет – живут хорошо, трое детей. Это не трагедия, а как бы озабоченность, что в мире еще так много зла и где-то в Курдистане убивают. Микаэла – врач-психиатр. Она приглашает меня в гости и взгляд у нее такой открытый, что мне становится неловко. Она много обо мне слышала от Патриции и Каролины и просто счастлива познакомиться. Такой день, такой день, столько дел, а она слишком поздно поставила в печь turkey.

* * *

Среди подарков Рону оказывается и мозаика – из тысячи картонных квадратиков надо составить картину Дега «В танцевальном классе». Рон тут же с воодушевлением принимается за дело, чем заражает остальных. Найти два совпадающих квадратика мне представляется делом немыслимым, но у Рона получается, и он азартно потирает ладони. После него успешней всех Каролина – ее подстегивает дух старшинства. Патриция говорит, что видела в одном доме подобную картину. Ее не только собрали, но наклеили на картон, обрамили и повесили на стену. Памятник убитому времени. И – дебилизму. Через четверть часа возле Дега остаемся только мы с Роном: Рон, потому что для японца – это тьфу, я – потому что мне неловко оставлять его одного. Мы с ним как бы два сапога – пара. Рон прицеливается, пыхтит, радостно смеется, отыскав очередное совпадение, и демонстрирует его мне. Он вообще охотно смеется – почти каждому моему слову. Будто я великий остряк.

Потом мы провожаем Микаэлу и она настаивает, чтобы мы зашли. А Каролина почему-то не хочет, хотя там ее сын, внучка и два внука. За всем этим угадывается давний семейный разлом. Впрочем, Каролина довольно быстро дает себя уговорить, и мы полным составом всходим на крыльцо. Я догадываюсь, что мое присутствие играет роль связующего материала. «Добро пожаловать, гости дорогие», – читаю я надпись над дверью. Надпись держат две тошнотворно веселые зверушки. В доме трое детей Микаэлы и муж Майк. Служанку они сегодняпустили. Майк – красивый блондин – лежит на софе и приветствует нас, не вставая. С ним случилась небольшая неприятность – слезал с велосипеда и подвернул лодыжку. Теперь не ступить – то ли растяжение, то ли перелом. Рентген покажет. А пока Майк вынужден занимать горизонтальное положение. Он держится молодцом. Свежая голубая сорочка с короткими рукавами, руки сложены на груди, голубые джинсы и голые ухоженные ступни, на которых он время от времени останавливает одобрительный взгляд голубых глаз. Их старшая дочь Эми, в розовых подростковых прыщах, вместе со своей теткой Патрицией была в Питере и мечтает о новой поездке. Родители ненавязчиво смотрят на меня, и я понимаю, что в этом доме буду почти желанным гостем. Журналист из Петербурга – это все-таки звучит. Если бы я сказал, что я писатель – это бы не прозвучало. А журналистика в Америке – все же профессия. Майк, конечно, занят более солидным делом – оптовой торговлей, но по молодости тоже пописывал в газетке. Где работала мама Каролина, вычисляю я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.